

## Игорь Шестков "Уля"

«Микула Селянинович – любимый герой трудолюбивых людей! Он олицетворяет наш великий русский народ. Микула – крестьянин, простой пахарь, богатырь мирного труда! – объясняла учительница русского языка и литературы Ирина Аркадьевна Зверева. – Буранова, ответь, почему наш народ любит Микулу Селяниновича?»

Уля Буранова встала нерешительно и от волнения зевнула.

«Не спи, Буранова!» – попросила учительница.

Уля поправила юбку. Посмотрела вниз, на парту.

Поверхность старой парты, расписанная поколениями деревенских школьников, походила на стену неолитической пещеры. Особенно выделялось искусно вырезанное безымянным умельцем известное русское неприличное слово из шести букв начинающееся на «п». Непонятно, было ли оно призывом или констатацией. Криком души отчаявшегося или гласом вопиющего в пустыне. В любом случае, оно давало ясный ответ на многие фундаментальные русские вопросы.

Уля сжала узкие краплавовые губки, напомаженные маминой помадой и припудренные, чтобы скрыть шрамы от неудачных операций по исправлению «заячьей губы», потом улыбнулась неловко, покраснела, закричала, но выдать из себя так ничего и не смогла.

«Буранова, проснись и отвечай!» – настаивала Ирина Аркадьевна.

Почему? Почему его любит народ?

Трудно отвечать на тривиальные вопросы. Беззаветно преданная методичке Зверева, в советские времена работавшая пионервожатой, хотела всего лишь чтобы ученица повторила патристическую нелепость из хрестоматии, но Буранова как назло забыла слово «олицетворяет»...

Уля прошептала: «Потому что он... Оле... Оцы... Потому что он бросил сошку за ракитов куст...»

Класс заревел от удовольствия.

Ряхин, высокий олух, носящий поверх школьной формы серебряную цепочку и

слывший из-за этого щёголем, сардонически посмотрел на Улю, показал ей противные заячьи уши и растянул в разные стороны верхнюю губу, покрытую белесыми волосиками. А дородный Димка Утробин изобразил всем своим большим телом бросок сошки за ракитов куст, задержав, для убедительности, отключенным задом...

Суровая Ирина Аркадьевна призвала класс к порядку, улыбнулась благосклонно и спросила своего любимца, маленького брюнета Темира Чернопятого: «Темир, зачем понадобилось Микуле бросать соху за ракитов куст?»

Тот ответил не задумываясь: «Чтобы колхозники не сперли! Она ж у него в серебре и золоте была! Соха-то. Не оставлять же на поле... Цап-царап может произойти... Ну, кража.»

Домой Уля возвратилась около трех. Там ее ждала баба Дуня, мать «мамашиного хахаля» Тимохи.

Баба Дуня никого не любила. Ни своего сына, пьяницу и уркагана, названного в честь легендарного родоначальника семьи – башкира Тимофея Ушнурцева, служившего у Пугачева в «гвардии», ноздри которого якобы вырвал раскаленными щипцами сам Потемкин, ни бочкообразную сожительницу Тимохи Полину, старшую сына на десять лет, ни внука, сына бесследно пропавшей пять лет назад снохи Зинки, семилетнего идиотика Серёжу, ни, тем более, неказистую дочку Полины – Улю.

Передние зубы бабы Дуни разошлись от времени и недостатка других зубов в разные стороны как телеграфные столбы на вечной мерзлоте. Между ними было видно розовую правильную десну, как у младенца. Постоянное недовольство жизнью и людьми выгравировало на лице нестарой еще женщины маску брюзгливости, стянуло кожу к бесцветным губам и широкому носу.

Улины подружки ввали про нее: «Бегают бабка Ушнурцева с конями у реки, как лошадь ржет и траву дикую щиплет. Волосы седые распустит, сиськи за спину, вместо стоп – копыта, вместо носа – помидор. Если подойдешь – в ель оборачивается... У беременных баб печень крадет, на костре ногти от покойников жарит... Грудным молоком чёрта косматого кормит... И у тебя когда-нибудь ногти вырвет. С чертополохом сварит и съест.»

Баба Дуня и впрямь любила лошадей. Забиралась в конюшни, угощала там колхозных меринов морковью и яблоками. Расчесывала им гривы, а летом даже в ночное водила на речку Сюню, если конюхи разрешали...

Уля бабу Дуню боялась, подружкам верила и всерьез опасалась за свои, неловко покрытые дешевым красным лаком, ногти.

Расчесывала однажды баба Дуня себе волосы. Вздыхала, морщилась и косу заплетала. А Уля подглядывала. Было это у бабы Дуни в доме. Уля там ночевала, потому что у них пожар случился. Все ее комната черная была. В копоты. Шкаф сгорел и кровать. Пьяный Тимоха бычок не затушил, а в угол бросил. Вот и загорелось. Спала Уля тогда у бабы Дуни целую неделю в закутке, пока чинили-красили, а рядом полоумный Сережа спал. Слюней напустил под нос полстакана. И вонял – мыли его редко, простыни не меняли месяцами. Чмокал и фыркал во сне, как жеребенок. Иногда стонал как леший. Уля его жалела, но погладить боялась – тот мог и укусить, хорек.

Засмотрелась тогда Уля на бабу Дуню и задремала... И вот, уже не старая, изробленная жизнью деревенская бабка перед ней – а русалка-красавица.

Волосами длинными шелковистыми играет и бюстами сахарными трясет. Зубы белоснежные показывает... А потом вдруг – исчезла русалка, а на ее месте появилась ведьмака жуткая. С костылем и на птичьих ногах. На голове – красный платок. Серебряной иглой проткнутый. В ушке иглы – веревка. А в руках у ведьмы – огромная вилка. Побежали тут по комнате тени-долгунцы... И стала вдруг горница в деревенской избе – как зал просторная. Стены высоченные. Наверху – квадратная дыра. Звезды видно – как елочные игрушки сияют. А на стенах – окна-дырки до самого верха. Оттуда музыка чудная доносится и люди какие-то странные смотрят, безголовые, вроде, с глазами на пузе... А посередине зала – черная вода в бассейне. В эту воду та ведьмака кинулась и брызги от нее – нефтяные капли – во все стороны полетели. На другой стороне бассейна черт рогатый сидит. На Улю глаза вытарацил. И рога у него везде. Даже на руках. Встал, подошел к Уле и – кинулся на нее. Вцепился зубами в верхнюю губу...

Плеснула баба Дуня в тарелку картофельного супа, заправленного рожками.

Отрезала кусок серого хлеба. Бросила на стол. Буркнула что-то, оделась и ушла к себе в избу. Там ее голодный Серёжа дожидался.

Уля поела, убрала за собой. Села за стол уроки учить. Зверева задала сочинение на тему – «Приметы старины глубокой в былине «Вольга и Микула Селянинович»». Десятый раз перечитывая текст былины, Уля пыталась выявить проклятые приметы, даже указательным пальцем по строчкам водила, но ничего, кроме нескольких устаревших слов не обнаружила... Омешики, рогачик, гужики...

Все в былине ей было знакомо и понятно. Какая уж тут старина! И «кобыла соловенькая» и «сапожки зелен сафьян». Вполне современными были и поведение Вольги и ответы куражащегося своей силой Микулы. И навязчивые мужички, которые «стали грошей просить», которых потом «положил Микула до тысячи». Актуальной была и конечная цель микулиной работы – напахать ржи, наварить пива и мужичков в усмерть напоить, чтобы они его «похваливали».

Самогон-самоплас гнали в каждой второй избе их деревни. Сусло приготавливали, правда не из ржи, а из подгнившей картошки, сахара и дрожжей. Часто случались там и разборки между «молодцами-оратаями» и «дружиной птиц-соколов и серых волков» из соседних деревень. После которых – «который стоя стоит, тот сидя сидит, а который сидя сидит, тот лежа лежит. И все рыбы уходили во синии моря, улетали все птицы за оболока, ускакали все звери во темные леса...»

Пришел Тимоха. Как всегда хмурый, но трезвый, осторожный какой-то. Бросилась в глаза Уле и еще одна странность – не пошел он в кухню, где в тазу с водой стояла бутылка с самогонкой, не выпил стакан, не закусил соленым огурцом из рядом стоящего сиреневого пластикового ведерка с отбитым краем, от которого несло укропом и чесноком. Внимательно осмотрел избу, поглядел долго и тревожно в окошко, сказал: «Одевайся, давай, пойдём сейчас.»  
«Куда пойдём, дядя Тимофей?»  
«В лес».

«Так мороз в лесу, снег, темно. А мне уроки делать надо...»

Ушнурцев приблизил свое рябое, грубое лицо к нежному курносому личику Ули и прохрипел, не смотря ей в глаза: «Пойдем, сказал. Надевай валенки, маткин ватник и ватные штаны... А не то...»

И показал ей ржавый садовый нож с треснувшей зеленой рукояткой, изогнутое лезвие которого было похоже на клюв хищной птицы.

Сердце девочки сразу упало в колени. Ничего не понимая, Уля оделась. Вышла в сени, шагая торжественно, как лунатик. Ушнурцев обвязал ей шею бельевой веревкой. Другой конец продел через рукав своего ватника. Уля так ошалела от веревки, что Ушнурцеву пришлось снова показать ей нож, чтобы заставить ее выйти наконец из избы.

На улице Уля дернулась было в сторону деревянных ворот, но Ушнурцев грубо оттащил ее веревкой и повел через заснеженный садик к задней калитке. Сбил ее с петель и вывел Улю через небольшой лесок, овражек и поле к замерзшему Шибановскому болоту. У болота немного покрутился, следы на снегу еловой лапой замел, поволок оцепеневшую от страха девочку в бескрайний Кабанов лес. Снегу было по пояс, но Ушнурцев выбирал знакомые ходы, утопанные то ли человеком, то ли зверем, снежные тропки и лазы.

Через два часа ходьбы достигли они маленького охотничьего домика-землянки. Вошли. Ушнурцев зажег керосиновую лампу, растопил березовыми дровами старую потрескавшуюся печку, занимавшую половину единственной комнатки. Посадил Улю на грязную лавку рядом с печкой, а сам взял в руки какую-то щепочку и начал ей в зубах ковырять, задумался...

Следы их занесло метелью еще до того, как перепуганная насмерть Полина уговорила соседских мужиков помочь ей в поисках дочери. Искали до полуночи – на широких лыжах и с факелами, но никого не нашли и по домам разошлись. Два раза бегала Полина к бабе Дуне. Надеялась, одумается Тимоха и к матери на ночь придет. Все напрасно.

Баба Дуня урезонивала Полину: «Ну что ты все ходишь, Сережу пугаешь... Окстись. Тимоха бешаный, но не какой там убойца. Потаскает девчонку и воротится. Замерзнут в чистом поле-то, али в лесу. Во, дубак какой стоит... На

Кезе, говорят, лектростанция заледенела. Как бы лошадки не померзли...»

А сама тихонько посмеивалась в кулак, злыдня. Радовалось, что Полина психует. Даже гордилась сынком.

«Унял таки стервину. И девчонку ейную вовсе не жаль. Урода, волчья-пасть. Ну, полюбуется малость сын, чаго-ж, ей честь одна, четырнадцать годов, пора привыкать к мужчине. Меня вот аж в двенадцать оприходовали. Ван Петрович, пасечник. Уж как наседал...»

Полина решила на следующий день опять в райцентр ехать, рассказать там все майору Полтинникову и с милицией дальше искать. Уснуть не смогла, всю ночь по кровати металась. Представлялось ей, что Тимофей голую Улю по снегу за ногу таскает. Туда-сюда...

Пугалась Полина неспроста. Знала, на что ее любовник в ярости способен. А ведь сама его и разозлила. Неделю назад в город сгоняла и собственноручно дежурному в отделении милиции жалобу отдала. В ней описала она подвиги сожителя – «ежедневные избиения с применением технических средств – кастрюли, ножки стула, проволоки, старой иконы без оклада, а также ногами в сапогах и алюминиевым половником».

Кроме того Буранова вменяла Ушнурцеву в вину «попытку ее смертоубийства путем удушения подушкой на супружеском ложе, распил ее на части бензопилой, для чего... он меня привязал в лесу к осине и долго угрожал пилой и плевал в лицо, называя прошмондовкой, эстонской килькой и резиновой куклой...»

К тому же сожитель грозил якобы «убить и уроду-девку и до гадины-мамаши добраться, на куски разорвать м.даков соседей, спалить всю деревню Рыкву и зарыть бульдозером источник нашей великой реки Камы, чтобы все Приуралье превратилось в холодную пустыню Сахару!»

Знала Буранова, что Ушнурцев ездил сегодня на мотоцикле в райцентр в милицию. Сама же ему повестку и сунула. Потому и не выпил с утра. Только яичницу съел. А ей сказал многозначительно: «Сегодня весь колхоз «Борец» поймет, что такое Тимофей Ушнурцев, потомок Пугачева и Разина!»

Эти слова испугали Полину и она дала себе зарок прийти с работы до прихода дочери из школы и проследить, чтобы Тимоха и впрямь не натворил чего-нибудь. Зарок-то она дала, а вот исполнить его не смогла – повис на ней главбух как клещ, пришлось ей заново зарплату механизаторам считать.

Жалоба в милицию была неловкой попыткой избавиться от Ушнурцева.

«Пьянь одурелая, – бранилась Полина. – Жизнь он мою уел, тело изгрыз, бешеный пес, морда морковная!»

Так называла Полина своего сожителя за действительно как бы морковный цвет кожи на лице. «На его харе баба Дуня морковь стригла» – рассказывала Полина продавщице Петровой по прозвищу «Золушка», данным ей за то, что потеряла в колхозном клубе валенок с галошей.

«От качана зачала, кочерыжку родила» – злобствовала Полина.

«Ты чего ругаешься, девушка, – увещевала подругу Золушка. – Мой вон и старый и гунявый, и в постели – бревно, а я не ругаюсь...»

Два года назад умер законный муж Полины, отец Ули, Пудга Буранов.

Вроде и не болел. И в больнице не лежал. Дрова пилил. А потом присел – и голову на полено уронил. Врач сказал – гумма на аорте у него была.

Сифилитический аортит. Взял анализы у Полины и Ули. Дочку в покое оставил, а мать послал в клинику в Ижевск. Выписалась Полина из клиники только через полгода. Уля в это время у бабушки жила, в Башкирии.

Баба еще в соку – сорок пять лет. А мужиков свободных в деревне нету. Как на беду освободился в это время Тимоха от химии и у бабы Дуни поселился. Где его несчастный сын-инвалид Сережа жил.

Познакомилась Полина с Ушнурцевым в продмаге. Золушка и свела.

Покупала Полина тогда сардины в масле, а Тимофей – вермут и батон. Золушка шепнула Полине: «Поля, не пропусти кадр!»

Полина сделала незнакомому покупателю глазки. А тому приглянулась мякотелая баба, он предложил: «Если твою сардины к моему бермуду приставить – будет праздничный стол.»

И запел: «Килька плавает в томате...»

«Ей в томате хорошо», – прошептала Полина и вышла из магазина под руку с

Ушнурцевым. Пошли к нему. Бабу Дуню и слабоумного Сережу отгородили занавеской.

Пировали, пели, да вместе спать и легли. А под утро Тимоха, опохмелившись, избил свою новую возлюбленную до крови. Бил по лицу и приговаривал: «Ах, ты падла, ко всем небось тут в койку прыгала, килька ты сраная!»

Полина решила – руки распускает, значит любит.

Ушнурцев не был, как многие уркаганы, любителем малолеток. Улю он увел не для удовлетворения похоти плоти, а для того, чтобы Полину покрепче уесть. Его влекло к полненьким да кругленьким, а Уля была не в мать – худая да долгая. «Увел-то увел, да что с ней теперь делать, – думал Тимоха, сосредоточенно ковыряя в зубах. – Тронешь ее, визжать начнет как кошка. Не весело будет.» Ушнурцев, надо отметить, когда был трезвый, любил наедине с собой поразмышлять и пофантазировать. Привычка эта появилась у него во время долгого пребывания в исправительной колонии в Лабытнангах, где он работал в «цеху по выпуску сувенирных изделий», рисовал медведей и оленей и резал из дерева орлов...

«Ищут, поди уже нас, колхозники. Сволочь горбатое. Полина, наверно, уже и ументов побывала. Только зря ездила. Полтиныча раскочегарить – рублей триста в лапу дать надо. А у моей дуры денег нет, забрал я деньги. В коробке лежали. Из-под зефира. Нашла, где деньги прятать, прошмондовка. Ищут, ищут, зайца в поле. Тут они нас до весны искать будут. Необъятные места!» – тешил себя Тимоха.

«Дядя Тимофей, мне по маленькому надо!» – пропищала Уля.

Тяжело ворча, открыл Ушнурцев дверь и выпустил девочку на веревке, как собачку. Дверь не закрыл, прислушался. Уля отошла несколько шагов от охотничьего домика. Разрыла снег. Спустила штаны. Присела неловко. Снег обжѐг ей промежность.

Тимоха резко дернул за веревку. Уля задохнулась, схватилась за шею.

Поспешила назад.

«Садись, – прохрипел Тимоха. – Да не на лавку! Сюда, садись. На овчину.



Бестолочь ты зеленая.»

«Раздеть разве ее, что ли, – размышлял про себя Ушнурцев. – Ну, раздену. Кожа да кости. Палку кинуть трудно. Кровь будет да сопля. А что потом? Убивать ее, тлю, вроде жалко. А не убьешь, все расскажет ментам. Опять срок. Пошлют на строгача.»

Тимоха вышел на двор, помочился на обмерзшую крышу землянки, напихал снега в чайник, поставил его на печурку и закурил. Уля закашлялась – бабы Дунин самосад смердел как жжёная швабра.

Ушнурцев тоже покашлял, глубоко и грубо, как старый экскаватор, бросил щепотку черного чаю в кипящую воду, снял чайник с печи и укрыл его замызанной спортивной шапкой. Подарили когда-то на районных лыжных соревнованиях...

Достал две помятые кружки и несколько сухарей. Разлил чай, подал Уле сухарь. Сказал: «Размочи сухарь в чае. Зубы поломаешь...»

«Дядя Тимофей, а сахарку нет?»

Ушнурцев пошарил, нашел на колючей полке два грязных куса колотого сахара, почему-то не съеденных муравьями и мышами, и отдал Уле. Сам пил чай без сахара. Молча. Громко всхлипывая. Представлял себе, как Полина ругается, как таскаются по лесу, кромешно матерясь, угрюмые их соседи, как сурово молчит его злобная мать. И радуется в тайне. А перед сном дает увесистую затрещину Сереже-идиотику.

После чая Уля согрелась, перестала дрожать, свернулась калачиком, натянула на себя овчину и уснула на полу. Рядом лег и Тимоха.

Измученная Уля спала мертвым сном без сновидений. А Ушнурцева мучил кошмар. Будто едет он куда-то долго-долго на автобусе. Вот и приехал. Вышел на дорогу. По сторонам смотрит. С одной стороны дороги – море. Холодное, серое, унылое. Почти без волн. Только рябь от ветра по воде бежит. Насмотрелся такого моря Ушнурцев во время службы на Северном флоте досыта. А с другой стороны – наводнение как бы. Вся земля водой залита. Только холмы лесистые виднеются. Сосны вроде накренились. По холмам ползет туман. И растекается тихо так по всему ландшафту. Тошнотворно. Вот он и сосны, и дорогу, и воду, и

море покрыл. И вокруг шеи закрутился. И жмет туман ему шею как удав. И задыхается Тимоха в тумане. И вроде фигура какая к нему идет. Покойный боцман Никонов. Редкий гад. Показал Тимохе деревянного орла, погрозил пальцем и...

Тут Ушнурцев проснулся – и за голову схватился, быстро смекнул в чем дело. Печка была с угаром. Схватил Тимофей бездыханную уже Улю и на мороз выбежал. На вольный воздух. Веревку обрезал садовым ножом. Разодрал одежду. Растирал, растирал снегом ей грудь, бил по щекам – та так и не очнулась.

Завернул Улю в овчину, затушил печку снегом и ушел.

Потащил Ушнурцев бедную Улю к Кротихе. Та недалеко от Кабанова леса жила, у просеки. Два часа шел. Стучать Тимофей не стал, просто в избу вошел. Дверь Кротиха не запирала. Улю в сенях на пол положил.

Позвал Кротиху. Та не отозвалась. Потому что лежала она на лиловом дырявом диване мертвецки пьяная. Тимоха поискал банку с первачом. Хватанул в сердцах стакан, подождал пока уляжется, помечтал и поволок Улю в сарай, на сено...